

**ГЕОРГИЙ ГАЧЕВ:
IN CULTURA, IN MEMORIAM***Ричард Темпест*

Ассоциированный профессор славянских языков и литератур
Иллинойского университета в Урбане-Шампейне

Старший редактор *Journal of Political Marketing* (Чикаго), автор публикаций о русской и мировой культуре и истории на английском, болгарском, русском и французских языках

Автор (под псевдонимом Роланд Харингтон) написанного им по-русски романа «Золотая кость» (М.: НЛО, 2004). Его книга «Overwriting Chaos: Aleksandr Solzhenitsyn's Fictive Worlds» («В борьбе с хаосом: художественные миры Александра Солженицына») выйдет в начале 2019 г. в издательстве Academic Studies Press (Бостон).

**GEORGY GACHEV:
IN CULTURA, IN MEMORIAM***Richard Tempest*

Associate Professor of Slavic Languages and Literatures at the University of Illinois in Urbana-Champaign and a Senior Editor at the *Journal of Political Marketing* (Chicago)

He has published on Russian and world culture and history in English, Bulgarian, Russian and French, and is the author of the novel «Golden Bone», which he wrote in Russian (M.: NLO, 2004). His book «Overwriting Chaos: Aleksandr Solzhenitsyn's Fictive Worlds» (Boston: Academic Studies Press) is forthcoming in early 2019.

Воспоминания автора об общении с Георгием Гачевым в 1978–2006 гг., сопровождаемые аналитическими выкладками относительно роли последнего в русской интеллектуальной и советской культурной истории. Особое внимание уделяется концептуальной и литературной связи между Гачевым и Василием Розановым. Оба мыслителя принадлежали оригинальной русской школе натурфилософии, в которую также входили Николай Федоров, Константин Циолковский и Владимир Вернадский. Гачевские «жизнемысли» суть вдохновенный сочинениями Розанова синкретический жанр, который одновременно напоминает сокровенный дневник и культурологическое исследование. Стиль Гачева вызывает ассоциации с публицистическими произведениями Солженицына. Последние четыре десятилетия своей жизни Гачев посвятил гигантскому проекту энцикло-

педического характера, цель которого состояла в антологизации и поочередном описании «национальных образов мира», другими словами, его собственной и в высшей степени персонализированной рецепции и интерпретации России, Болгарии, США, Франции, исламского мира и других культурных и цивилизационных пространств. Как телесно ориентированный мыслитель и ученик Розанова, Гачев много писал о сексе (который он определял как феномен города) и Эросе (который в его восприятии соотносится с деревней), толкуя «Русский Эрос» как подпольную и изможденную фигуру.

A memoir of the author's interactions with Georgy Gachev in 1978–2006 and an examination of the latter's place in Russian intellectual and Soviet cultural history, with an emphasis on his conceptual and literary debt to Vasily Rozanov. Both thinkers belong to a uniquely Russian tradition of natural philosophy which also includes figures such as Nikolai Fedorov, Konstantin Tsiolkovsky, and Vladimir Vernadsky. Gachev's «life-meditations» are a «post-Rozanov» syncretic genre that combines elements of an intimate journal and a culturological study. Their style recalls Solzhenitsyn's polemical writings. For the last four decades of his life, Gachev was engaged in a vast, encyclopedically structured project, the purpose of which was to anthologize and sequentially describe the «national images of the world», i.e., his own, highly personalized reception and interpretation of Russia, Bulgaria, the United States, France, the Islamic world and other cultural or civilizational spaces. As a body-centric thinker and Rozanov acolyte, Gachev wrote a great deal about sex (which is urban) and Eros (who is rural), depicting the «Russian Eros» as a furtive and «debilitated» figure.

Ключевые слова: Георгий Гачев, Василий Розанов, история русской мысли, история советской культуры, натурфилософия, тело, секс, эрос.

Keywords: Georgy Gachev, Vasily Rozanov, Russian intellectual history, Soviet cultural history, natural philosophy, the body, sex, Eros.

Законы лучшего человеческого строя могут лежать только в порядке мировых вещей. В замысле мироздания. И в назначении человека.

Александр Солженицын

Где-то в середине семидесятых к моей матери, представлявшей в Москве болгарский еженедельник «Литературен фронт», зашла Элка Константинова, ее коллега по газетному делу, а в будущем — министр культуры в одном из первых постсоциалистических кабинетов Софии.

Благодаря культурным связям и интеллектуальным интересам родителей наша квартира в партийном доме массивной колонной постройки на Староконюшенном переулке, выделенная Международным отделом ЦК отцу как корреспонденту органа британских коммунистов «Морнинг стар», стала своего рода салоном эпохи реального социализма. Здесь бывали англоязычные чиновники со Старой площади, русскоязычные иностранные дипломаты, писатели, актеры и режиссеры и даже московские неославянофилы и ретроокультуристы. (В этом же здании жил сын Никиты Хрущева, Сергей, с которым мать подружилась несколько позже описываемых событий.) Я вырос на Староконюшенном — сын англичанина и болгарки, в нежаркие времена года ходивший в советскую школу, а лето проводивший в Лондоне и Софии: сосуществование разных культурных миров и мифов. Как-то на секретной даче пятилетнего меня усадил себе на колени суперразведчик Ким Филби (впрочем, этого я не помню), а на пресс-конференции для иностранных журналистов, куда нас с сестрой привел отец, я сфотографировался с Юрием Гагариным: яркое воспоминание! (Темпест, 1991) Сделанные в тот вечер снимки висят на стене за моей спиной в прикампусном иллинойском доме, где я пишу эти строки.

Впрочем, пора вернуться к теме статьи, которой я хочу дать форму *философической* реминисценции о человеке, с которым интенсивно, хотя и с перерывами, общался в течении тридцати лет.

В тот день Элка пришла рассказать матери о своем новом знакомом, культурологе с необычными взглядами и своеобразными творческими привычками, сыне погибшего в ГУЛАГе политэмигранта из Болгарии и советского музыковеда. Он даже говорит по-болгарски, хотя и не совсем чисто, сообщила коллега. Речь шла о Георгии Гачеве. Мать, горячая патриотка, разговаривавшая со мной, сестрой и даже с родившимся в графстве Йоркшир отцом исключительно на языке Левско-го и Ботева, была заинтригована. Спустя несколько дней две болгарские журналистки отправились к Гачевым на чашку чая.

Типовая многоэтажка, расположенная в отдаленном микрорайоне Большой Москвы, комнаты, полные книг, которые устилали стены и лежали грудями на полу — но необыкновенно скудная обстановка. Ни в этот период своей жизни,

ни в последующие Гачев и его жена, Светлана Семенова, никогда не выказывали интереса к материальным удобствам, а тем более к богатству или даже достатку. Хозяева и гости разместились бок о бок на потертом диване за отсутствием в доме необходимого количества стульев. А упомянутая в приглашении *tasse du thé* обернулась *bassin plein de miel*, ибо вместо печенья к чаю был подан наполненный медом белый кухонный таз: накануне Гачевы вернулись из деревни с запасами съестного, собранного в ожидании приближавшейся зимы. Пока взрослые макали ложки в наполненную янтарным лакомством лохань и вели разговор, малолетние дочери, Настя и Лариса, карабкались по родителям, гостям и стенам, весело при этом вереща. Впрочем, мою мать, придерживавшуюся педагогических принципов Песталоцци, это несколько не смутило, тем более что беседа получилась занимательной: Болгария и ее географический и культурный мир, различия между болгарскостью и русскостью, Николай Федоров и школа космизма.

Но эти интеллектуальные и гастрономические подробности я узнал много позже, после моего собственного знакомства с Георгием и Светланой. Оно состоялось в марте 1978 г., когда я, аспирант Оксфордского университета, приехал в Россию навестить родителей. Все семидесятые и восьмидесятые я был трансконтинентальным путешественником, разделявшим время между «спящими шпилями» моей *alma mater*, Москвой, южной Флоридой, где у родителей первой жены была вилла, и Колумбией, откуда они были родом.

Войдя в нашу гостиную, украшенную картинами Зверева и гравюрами Космынина, я увидел узкоплечего, иссиня-черноволосого человека со смуглыми складчатыми чертами лица, похожего на нахохленного грача, а рядом с ним статную белокурую женщину, облик которой вызвал у меня ассоциации с Элен Безуховой Толстого или даже Дотнаррой Макарыгиной из «В круге первом»: тогда как раз начиналось мое продолжающееся до сих пор увлечение солженицынской прозой.

Мы разговорились. Я собирал материалы для будущей диссертации по Чаадаеву, и история русской мысли естественным образом стала предметом беседы. Светлана повела рассказ о Николае Федорове и его «Философии общего дела», над новым изданием которой она тогда увлеченно работала. С заносчивостью юного оксонианца, воспринимавшего себя как персонаж «Возвращения в Брайдсхед», я проронил: «Если Федоров — великий мыслитель, то Платон — это посредственный философ». Категоричность моей реплики была связана с криогенным аспектом федоровского учения. Я воспринимал идеал всеобщего воскрешения через призму научной фантастики — например, романа Роберта Хайнлайна «Дверь в лето», герой которого после тридцатилетнего гипотермического анабиоза просыпается в 2000 г. и, оттряхнув с себя льдинки, пускается в конструкторские и биржевые приключения во благо технического прогресса и американского капитализма. Светлана начала было мне возражать, но Георгий прервал ее: «Дай

Ричарду высказаться». Что я и сделал, но, естественно, собеседницу не убедил, хотя ее супруг открыл пухлый блокнот в черной обложке и внес туда несколько упомянутых мною имен и названий. Как я узнал из последующего общения, отличительной чертой Георгия было чрезвычайно развитое качество интеллектуального любопытства, сочетавшееся с необычной для русского — да и западного — интеллектуала доброжелательностью к собеседнику.

В ходе разговора я поделился с Гачевыми путевым южноамериканским впечатлением. За несколько месяцев до этого мы с женой проезжали через горную деревушку, находившуюся недалеко от ее родного города *Medellin de memoria escandalosa*, и меня тогда озарило, что роман «Сто лет одиночества» следует читать не как эталон магического реализма, а как конкретно-бытоописательное повествование о буднях колумбийских горцев, которые волхвуют и левитируют в сказочном отрыве от гражданских войн, государственных переворотов и прочих политических событий, происходящих в близких и отдаленных долинах страны в плоскости исторической, а не фольклорной.

Но большей частью мы обсуждали знаменитые гачевские «Космосы» или, как он их называл, «космосá». Хотя в тот момент я ни одного из них не читал, из его пояснений я вывел, что проект этот сродни «Энциклопедии» французских просветителей. Моя идея ему понравилась, и он занес ее в записную книжку. Поговорили мы и о Чаадаеве, которого я с обретенной в том же Оксфорде любовью к парадоксам определил как русского мыслителя, открывшего, что России на самом (общем) деле никогда не было и нет. Я заметил, что это утверждение тоже нашло себе место в таинственном блокноте.

Диссертация стала билетом, предоставившим мне доступ в разные, друг с другом не соприкасающиеся интеллектуальные круги столицы: ведь благодаря своему «Философическому письму» Чаадаев, как отметил Солженицын, «установил рекорд <...> замалчивания русского писателя. Вот уж написал так написал!» (Солженицын, 1996: 9). Одним из моих собеседников на почве общего интереса к автору «ФП» стал критик и государственный Вадим Кожинов, университетский друг Гачева.

Той же весной 1978 г. вместе с Георгием мы вышли из дома на Староконюшенном, свернули влево и через несколько минут оказались в соседнем арбатском переулке, где Кожиновы жили во вросшем в землю, скособоченном доме, ныне, вероятно, уже не существующем вследствие муниципальной амбиции раннего Лужкова и позднего Собянина преобразить Москву в образцовый постсоветский *Welthauptstadt*. Беседа оказалось памятной — Чаадаев, Юрий Трифонов, слово «русский» как прилагательное и существительное и, наконец, любимый Кожиновым Бахтин. Меня тогда впечатлило умение Гачева поддерживать дружбу с человеком иных, даже противоположных взглядов и стиля мышления. Кожинов, кстати, Гачева очень любил.

Благодаря содействию болгарского писателя Георгия Джагарова, старого друга матери, занимавшего пост заместителя председателя Государственного совета НРБ (председателем был Тодор Живков), Гачев посетил родину отца — первый из многих его визитов. Джагаров также вывез и поместил в массивном стальном сейфе Госсовета часть гачевского архива, где она спокойно хранилась десять лет, до Перестройки. Подобно Солженицыну, исследователь космоса культуры имел свою сеть помощников-«невидимок». Одно время шла речь о получении гражданином СССР Гачевым болгарского гражданства, но вмешательство *Weltgeist*'а, то есть коллапс Советского Союза, оставило этот план неосуществленным за всемирно-исторической ненужностью. Помню дискуссию между матерью и Георгием о строке Христо Ботева «Тежко, тежко! Вино дайте!», которая в понимании писателя составляла формулу вакхического элемента болгарской культуры. Тут он оказался не совсем прав: о гачевском обыкновении выводить из случайно или неслучайно выбранного им литературного текста некую определяющую национальную истину см. ниже.

Гачев был мыслителем той же формации, что и Василий Розанов. Несмотря на то, что их разделяют восемьдесят лет или, согласно солженицынскому историографическому исчислению, тридцать «Узлов» мировой истории, между корпусами творчества двух писателей существуют многочисленные и содержательные параллели и наложения. И тот, и другой жили в эпоху предраспада и распада Империи, и книги их предвосхитили и отразили катастрофический (Розанов) или энтропический (Гачев) конец полиса, социума и культуры, в которых они выросли и провели бóльшую часть жизни. Оба они обладали характерными для русских философов качествами внеакадемичности, художественности и исповедальности. В их трактатах познающее авторское я и его телесные формы и функции становятся метонимами личного и онтологического бытия. Изучаемое философами его сродни скорее Фрейду, чем Фихте.

В эпоху «Красное колесо», которая представляет собой, *inter alia*, хрестоматию по русской культуре Серебряного века, Солженицын вывел образ журналиста и авгура Павла Варсонофьева. Этот герой, сочетающий в себе черты Платона и Сведенборга, — единственный оккультный персонаж во всем творчестве писателя. Теперь, по прошествии многих лет, мне все больше кажется, что в Варсонофьеве есть что-то гачевское. Возьмем его ремарку: «История растет как дерево живое. И разум для нее топор, разумом вы ее не вырастите» (Солженицын, 2006: VII, 374) или рассуждение о законах общественного развития, которое я выбрал в качестве эпиграфа к этому эссе.

Впрочем, другая формула Варсонофьева, «Одни книги читаю, другие пишу... Толстые читаю, тонкие пишу...» (Там же: 369), приложима к Гачеву лишь наполовину: толстые он читал, но толстые же и писал. Однажды при мне Георгий посе-

товал Кожинову, что в Советском Союзе его не печатают. Тот возразил: «У тебя же вышли четыре книги». — «Но написал-то я пятнадцать», — парировал Гачев. И действительно, его энциклопедия новейшего времени — колоссальное культурологическое начинание, целью которого была антологизация и «космическое» обобщение дюжин «национальных образов мира».

В предуведомлении к трактату «Америка в сравнении с Россией и славянством» читаем: «Каждую национальную целостность я понимаю как Космо-Психо-Логос (как и в человеке: тело-душа-дух), т. е. единство местной природы, характера народа и склада мышления, “ментальности”» (Гачев, 1997: 5). Индивидуальные тома в серии «Национальные образы мира» содержат описательный анализ одного отдельно взятого — или, вернее, взятого в соприкосновении с интеллектуальным и материальным авторским я — континентальных, религиозных или национальных *их*. В разговоре со мной Гачев поведал, что свой французский «Космос» он про себя называет «В охряпку с Декартом». А в 1994 г. мыслитель сообщал: «<...> Серия из 16 томов готова, где Россия, Америка, Индия, Англия, Франция, Германия, Италия, еврейство, Польша, Болгария, Грузия, Киргизия, Армения, Азербайджан, Эстония, Казахстан, Литва, Космос Ислама...» (Гачев, 1994б) (получилось на самом деле 18, but who's counting!). Как читателю из вышперечисленных фолиантов мне более всего близки «Америка в сравнении с Россией» и «Русский Эрос»: интеллектуально и пространственно обретаясь в Америке и России, я могу поверить алгеброй авторских выкладок гармонию — и дисгармонию — музыки их цивилизаций.

Гачевские тексты имеют форму насыщенного метафорами ассоциативно-образного повествования: Пример — Образ — Бытие. Вот, например, пассаж из «Евразии»: «Верблюд <...> есть целое архитектурное сооружение, машина не простой формы (как рыба), но с ухищрениями-инструментами во все стороны: горб, ноги, змеино ныряющая голова — целая он мастерская и фабрика суши, выпестованная эволюцией жизни в предельной дали от первичной воды Океана. Он весь — членистоног <...>» (Гачев, 1999: 111). Из приведенного отрывка явствует, что Гачев был стихийным структуралистом аристотелевского извода.

Гачевские «жизнемысли» плотны, фактурны, пространны, насыщены архаизмами, цитатами из классических авторов, современным сленгом и фольклорными оборотами и выражениями. Он относится к тому крайне немногочисленному разряду писателей, чей стиль узнаваем из одного абзаца или даже предложения: см. Толстой, Джойс или тот же Солженицын. По свидетельству Михаила Гаспарова, в бытность Гачева младшим сотрудником Института мировой литературы Сергей Аверинцев дал о нем следующий неодобрительный отзыв: «Как будто взбесившаяся газета заговорила языком Андрея Белого!» (Гаспаров) — комментарий, представляющий собой трех- или даже четырехступенчатую культуроло-

гическую выкладку, пронизанную антимодернистским и антисоветским раздражением. Впрочем, в моем прочтении гачевская манера письма родственна скорее той, которую Солженицын использовал в своих *Tendenzen Schriften*. Особенно это чувствуется в дневниковых записях, которые присутствуют как анахронические вкрапления в научных трактатах Гачева, но никогда не издавались отдельным томом (или томами). Исключением тут является посмертно опубликованный «Дневник современного философа», относящийся к периоду 2005–2008 гг. (В нашем последнем разговоре я сказал Георгию, что дневники его не менее интересны, чем «Космосы», и что поэтому их следует опубликовать целиком, чем несколько его озадачил.)

В памяти всплывает выступление философа 19 декабря 2004 г. на посвященной творчеству Солженицына конференции «Между двумя юбилеями». В программе имя Гачева не присутствовало, но в одном из перерывов между докладами он сумел убедить Наталию Солженицыну позволить ему сказать несколько слов. Как можно было предположить, слов этих оказалось более чем несколько. Для начала докладчик сравнил Солженицына с Александром Македонским и Наполеоном, назвал его «великаном» и «полубогом в сравнении с антропосомами нормальной величины» (Гачев, 2005: 530), а в заключение высказал: «Язык, слог его — речь народного русского человека, живая, растет, дает поросли от корней слов, что чутко слышит и естественные неологизмы рождает, сам выступая как орган языкового расширения <...>» (Там же: 532). Thus Gachev. Thus Solzhenitsyn.

Один из комментаторов характеризует жанр «жизнемыслей» как «послерозановское соединение интимного дневника, культурологических размышлений, квазинаучных исследований» (Шевелев, 1997). В свою очередь, Гачев называл свое творчество «экзистенциальной культурологией», в которой субъект исследования и его жизнь отнюдь не отчуждены от исследуемого предмета, но являются непосредственным инструментом поиска истины: «<...> Смесь Пруста со Шпенглером, т. е. идет дневник познания моей жизни в стиле Пруста или Розанова, а внутри него — трактаты типа Шпенглера <...>» (Гачев). Причем автор не только вводит себя в свои тексты как субъект и объект, но обрамляет повествование, как я уже отметил, дневниковыми цитатами, а также позднейшими ремарками, которые помещены в скобки или подстрочные примечания. Все текстуальные вкрапления датированы. Анахроничность изложения становится методологическим тропом.

Ницше называл себя психологом культуры, а «русский Ницше» Розанов был ее физиологом. К Гачеву приложимы оба определения — и психологическое, и физиологическое. Как мыслители Розанов и Гачев не только антропологичны, что также характерно для представителей русской натурфилософии, космистов Федорова, Константина Циолковского и Владимира Вернадского, но и телесно-

центричны. Исследование фильтруется через анатомические, метаболические, мускульные, сердечно-сосудистые, секреторные и половые функции организма. Из миллиардов живших и живущих на пяти континентах человеческих тел ученому наиболее интересна, дорога и занимательна собственная биологическая оболочка и начинка. Вводя себя и свои чувственные ощущения в исследовательский процесс и в генерируемый им текст, Гачев спонтанно следует дисциплинарной практике современной физической антропологии, но в экстремальном варианте.

Любопытен подход Гачева к культурологической проблематике секса и Эроса. Согласно исследователю, первый — урбанистичен, а последний — буколичен. По мысли автора, эта не-смычка города и деревни является в национальной культуре осевой. Гачев пишет: «<...> Эрос — та космическая сила, что соединяет, по эллинам, и луч солнца с землей, и мысль с предметом, и мужчину с женщиной» (Гачев, 1994: 12). Впрочем, его русский Эрос сугубо маскулинен. Это не данаец, а деревенщина, типаж косматый и заземленный, одновременно карнально-карнавальным и подпольным, «подросточный» (Там же: 257) — подстрочный? — и выказывающий прискорбные признаки изнеможения: «Нет нигде властного обладания женщиной, а елозенье по ней» (Там же). Причину постсоветской демографической катастрофы ученый видел не столько в социо-экономических травмах периода полураспада или дурных экологических и диетических привычках экс-советских граждан, сколько в «летучести, несущественности русского советского мужчины» (Там же: 214). При этом важно помнить, что писатель не осуждает, а констатирует. Подчиненное, по Гачеву, положение мужчины в русском космосе есть функция доминанты женщины. Автор «Русского Эроса» солидарен с Розановым в убеждении, что половая сегрегация, практикуемая в Древней Греции или исламском мире, стала катализатором здоровья гетеросексуальных союзов, ибо эротизировала отношения между полами (Там же: 255–256). По Гачеву, без сераля и похоть не в похоть.

У Розанова мы можем прочесть, что секс есть «“вечно текущая” величина», и посему антиномия мужское — женское представляет собой не абсолют, а «“флюксию”» (Розанов, 1990: 32). Это соображение своей радикальностью превосходит теорию перформативности Джудит Батлер, ибо если американская феминистка интерпретирует *гендер* как суммарный результат санкционированных культурными стандартами эпохи и места осуществительных актов, то Розанов релятивизировал даже биологический *пол*, не говоря уже о сексуальной ориентации. Однако мировоззрение Гачева последовательно гетеронормативно. В «Америке» он лепит образ Эроса США исходя из своего прочтения, как всегда в высшей степени идиосинкразического, лирико-эпического субъекта в поэзии Уолта Уитмена, чей «взгляд на женщину — как на совершенную вещь, изделие: нужна роскошная

женщина, чтобы гармонировать с обстановкой, чтобы быть парой жизнемашинному волевому титану» (Гачев, 1997: 227). А ранее, тоже по Уитману: «Природа — просто огромная баба, бабища-бабета, на потребу космическому телу Меня. Природа — сексбомба» (Там же: 214). Впрочем, Уитман был геем.

Гачев убежден, что Эрос есть «одна из великих энергий и сущностей бытия» (Гачев, 1994: 7), пронизывающая все живое и неодушевленное и подпитывающая авторский текст: «<...> Как и В. В. Розанов, семенем пишу» (Гачев, 1994а: 197). Оба писателя сексуализируют предмет исследования. Розанов, например, предлагает метафору России как вагины и Германии как фаллоса, предреченных слиться в геостратегическом экстазе, а у Гачева присутствует неожиданная мысль о фаллической форме женской груди и даже младенцев. Последний тезис, сформулированный в «Русском Эросе», со временем проник на страницы новейшей русской литературы:

«— Брысь, фалята! — крикнул громовым голосом. Озорники трусливо пискнули и мелкими бесами юркнули восвояси.

Взволнованный Водолей поклонился мне в ноги.

— Премного благодарен за педагогическую помощь, профессор. У вас очень сильное биополе.

— Dankon» (Харингтон, 2004: 66).

Так изобретенное писателем слово «фалята» — один из его «естественных неологизмов» — вошло в литературный и, возможно, родительский оборот.

В 1992 г., отвечая на вопрос, почему Розанов столь популярен у читателей молодого поколения, Гачев отметил лапидарность розановского стиля (имплицитное сравнение с велеречивостью и пространностью его собственных текстов): «Розанов — антитело великой русской литературы, романа: Толстого, Достоевского, Тургенева. Их паразит и антипод, с жалом миниатюр, не способный к полотну и дыханию широкому <...>» (Гачев, 1997: 607). Сравнение работ Розанова с миниатюрами заставляет вспомнить комментарий Ницше о Вагнере как о «величайшем миниатюристе музыки» (Ницше, 1990: II, 539), но, в отличие от создателя «Кольца», который в своем творчестве был ориентирован на *начало* через связь с древнегерманскими или средневековыми легендами, Розанов и Гачев — повторы — были мыслителями и художниками Конца.

Гачев — автор манифеста «Я — советский человек», которым он дополнил, если не опроверг, возникшие к середине девяностых положительные и отрицательные интерпретации русского XX века. Эта *profession de foi* подспудно отвергает антропологический снобизм Александра Зиновьева с его *homo sovieticus*, на самом деле являющимся лишь вариантом *hombre masa* из Ортеги-и-Гассета, но доморощенным. Хотя в самом Гачеве несомненно действовало «игровое начало» — фраза, которой он уже в первом нашем разговоре описал мою собствен-

ную склонность удивлять и утрировать, — писатель воспринимал и цитировал советское прошлое не через фильтр постмодернистской иронии, а с присущим ему всеобобщающим чувством благодарности. Ему чужда приговско-пелевинская метапастишизация советской действительности, он глух к трекам «Любэ», представляющим собой род изощренно-дубового издевательства над про-коммунистически, про-националистически или про-стецки настроенными фанами советской ностальгии. Гачева, член «поколения сыновей жертвованных отцов», любит советское прошлое любовью спокойной и естественной: «Как бы в награду за жертвы и муки “бури и натиска” становления нового социума <...> нам дано было зажить в уже нежестокоем периоде “оттепели” и “застоя” — в покое и деторождении, в культуре и творчестве и пользуясь благами социализма <...>» (Гачев, 1994).

Это чувство честной привязанности к социалистическому прошлому и его повседневным реалиям роднит Гачева со Славоем Жижекком. Однако за спиной Жижека маячит тень Лакана. Исходя из сумеречных теорий французского постфрейдиста, словенский посттитоист предлагает интерпретацию коммунизма как синтагматической речевой и бытийной практики воодушевления (или одушевления) человека коллективного — принципом и практикой инаковости: «<...> Большой “Другой” может быть персонифицирован или воплощен в одном лице — “Боге”, который наблюдает за мной и всеми остальными из иного мира, или же направляющей меня Идеей (Свободы, Коммунизма, Нации)» (Жижек). Для Гачева же поздний — «недурной» (Гачев, 1994) — советский социализм перестал быть членом монументального символического ряда, превратился в будничную и по-своему уютную среду обитания. Большой Другой мутировал в Большого Друга, дарителя свободных от рыночных отношений и служебных обязанностей суток, месяцев и лет приватной, семейной жизни. «Те основные ценности и существенные потребности меня, жены и детей, которые мы имели <...>: Любовь, Природа, Культура, Творчество, — удовлетворялись наилучше при освобождении Времени на них» (Там же).

Постмодернист Жижек сатиричен и пародиен, его любимое занятие — *épater les professeurs*, что он и делает на своих лакановско-ленинистских постановках в университетских аудиториях, картинных галереях и даже среди чуждых ему гробов: в ночь 4–5 сентября 2016 г. на Всесвятском кладбище Краснодара руководство фан-клуба рок-группы Behemoth провело презентацию русского издания «Страх настоящих слез», в которой сам автор удаленно участвовал через скайп¹. Гачев же даже в самых шокирующих и трансгрессивных своих высказываниях

¹ На краснодарском кладбище презентовали книгу Славоя Жижека // Югополис. 5 сентября 2016. URL: <http://www.yugopolis.ru/news/na-krasnodarskom-kladbishe-prezentovali-knigu-filosofa-slavoja-zhizheka-95749> (дата обращения 18.09.2018).

исполнен скромного умиления ко всему природному и Божественному. Эпатаж не входит в его авторскую интенцию. Увидеть философа во гневе или даже представить себе его в состоянии отрицательного аффекта было невозможно. Еще раз процитирую солженицынского Варсонофьева: «<...> Кто развился глубоко — становится смиренен» (Солженицын, 2006: VII, 373).

Последнее наше пересечение состоялось летом 2006 г. в механе — традиционном болгарском ресторане — на улице Витоша, это софийский аналог Тверской, но сильно сокращенный и суженный. Гачев позвонил мне на мобильный, сказал, что находится рядом, и минут через десять уже сидел за моим столиком вместе с сыном от первого брака, Дмитрием, успешным бизнесменом-строителем. Я предложил выпить ракии. Георгий сначала отказался, но потом опрокинул стопку и даже пошел по второй. Мы проговорили весь вечер. Тогда-то я и поделился с ним моими соображениями относительно его интерпретации Уитмена.

В диалоге Платона «Федр» Сократ сравнивает словотворчество со строением тела: «<...> Всякая речь должна быть составлена, словно живое существо, — у нее должно быть тело с головой и ногами, причем туловище и конечности должны подходить друг другу» (Платон, 1993: II, 264). Отсюда пошла идея об органической форме текста, который своей структурой гармонически воспроизводит порядок вещей в природе. «История растет как дерево живое». В сумме своей «жизнемысли», эта хроника авторских изысканий, путешествий, переживаний, семейной жизни и физиологического опыта, составляют, быть может, самый законченный пример органической формы в русской литературе. В этом *формальном* плане сравнение Гачева с его предшественником Розановым представляется особенно уместным, ибо и для того, и для другого словотворчество было не только модусом интеллектуального существования, но условием и даже гарантом жизни.

Литература

- Гаспаров М. Л. История мировой культуры. [Электронный ресурс]. URL: <https://litportal.ru/avtory/mihail-gasparov/read/page/8/kniga-istoriya-mirovoy-kultury-753900.html> (дата обращения 17.09.2018).
- Гачев Г. Д. Национальные образы мира. URL: <https://polit.ru/article/2007/05/24/kulturosob/> (дата обращения 13.09.2018).
- Гачев Г. Д. (1997). Национальные образы мира. Америка в сравнении с Россией и Славянством. М.: Раритет.
- Гачев Г. Д. (1999). Национальные образы мира. Евразия. Космос кочевника, земледельца и горца. М.: Институт Ди-Дик.
- Гачев Г. Д. (1994а). Русский Эрос. «Роман» Мысли с Жизнью. М.: Интерпринт.
- Гачев Г. Д. (2005). Солженицын — человек судьбы, орган и орган истории // Струве Н. А., Москвин В. А. (сост.). Между двумя юбилеями. 1998–2003. М.: Русский путь.

- Гачев Г. Д. (1994б) Я — советский человек и не знаю другого образа... // Независимая газета. 21 января.
- Жижек С. Как читать Лакана. URL: <http://dreamwork.org.ua/славой-жижек-как-читать-лакана/пустые-жесты/> (дата обращения 16.09.2018).
- Ницше Ф. (1990). Казус Вагнера. Проблема музыканта. // Ницше Ф. Сочинения: в 2 т. М.: Мысль. Т. 2.
- Платон (1993). Собрание сочинений: в 4 т. М.: Мысль. Т. 2.
- Розанов В. В. (1990). Люди лунного света. Метафизика христианства. М.: Дружба народов.
- Солженицын А. И. (1996). Бодался теленок с дубом. Очерки литературной жизни. М.: Согласие.
- Солженицын А. И. (2006). Собрание сочинений: в 30 т. М.: Время. Т. VII.
- Темпест Р. (1991). Окно в Россию // Литературное обозрение. № 12. С. 55–56.
- Харингтон Р. (2004). Золотая кость, или Приключения янки в стране новых русских. М.: НЛО.
- Шевелев И. Л. (1997) Случай Гачева // Русский журнал. 4 апреля. URL: <http://old.russ.ru/journal/travmp/97-10-04/shevel.htm> (дата обращения 13.09.2018).

References

- Gasparov M. L. Istoriya mirovoj kul'tury. URL: <https://litportal.ru/avtory/mihail-gasparov/read/page/8/kniga-istoriya-mirovoy-kultury-753900.html> (data obrashheniya 17.09.2018).
- Gachev G. D. Natsional'nye obrazy mira. URL: <https://polit.ru/article/2007/05/24/kulturosob/> (data obrashheniya 13.09.2018).
- Gachev G. D. (1997). Natsional'nye obrazy mira. Amerika v sravnenii s Rossiej i Slavyanstvom. M.: Raritet.
- Gachev G. D. (1999). Natsional'nye obrazy mira. Evraziya. Kosmos kochevnika, zemledel'tsa i gortsa. M.: Institut Di-Dik.
- Gachev G. D. (1994a). Russkij Ehros. «Roman» Mysli s Zhizn'yu. M.: Interprint.
- Gachev G. D. (2005). Solzhenitsyn — chelovek sud'by, órgan i orgán istorii // Struve N. A., Moskvina V. A. (sost.). Mezhdú dvumya yubileyami. 1998–2003. M.: Russkij put'.
- Gachev G. D. (1994b) Ya — sovetskij chelovek i ne znayu drugogo obraza... // Nezavisimaya gazeta. 21 yanvarya.
- Zhizhek S. Kak chitat' Lakana. URL: <http://dreamwork.org.ua/slavo-j-zhizhek-kak-chitat'-lakana/pustye-zhesty/> (data obrashheniya 16.09.2018).
- Nitsshe F. (1990). Kazus Vagnera. Problema muzykanta. // Nitsshe F. Sochineniya: v 2 t. M.: Mysl'. T. II.
- Platon (1993). Sobranie sochinenij: v 4 t. M.: Mysl'. T. 2.
- Rozanov V. V. (1990). Lyudi lunnogo sveta. Metafizika khristianstva. M.: Druzhba narodov.
- Solzhenitsyn A. I. (1996). Bodalsya telenok s dubom. Ocherki literaturnoj zhizni. M.: Soglasie.
- Solzhenitsyn A. I. (2006). Sobranie sochinenij: v 30 t. M.: Vremya. T. VII.
- Tempest R. (1991). Okno v Rossiyu // Literaturnoe obozrenie. № 12. S. 55–56.
- Kharington R. (2004). Zolotaya kost', ili Priklyucheniya yanki v strane novykh russkikh. M.: NLO.
- Shevelev I. L. (1997) Sluchaj Gacheva // Russkij zhurnal. 4 aprelya. [Elektronnyj resurs]. URL: <http://old.russ.ru/journal/travmp/97-10-04/shevel.htm> (data obrashheniya 13.09.2018).